

**Лев Николаевич Толстой**

**Севастополь в августе 1855  
года**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Лев Николаевич Толстой**

Севастополь в августе 1855 года / Лев Николаевич Толстой – М.: Книга по Требованию, 2011. – 44 с.

**ISBN 978-5-4241-3080-9**

Творчество великого русского писателя Льва Николаевича Толстого пользуется любовью читателей всего мира. Его произведения вошли в сокровищницу мировой литературы.

Талант писателя многогранен, романы и повести Л.Толстого, детские рассказы и философские произведения, письма и дневники с особой остротой отразили общечеловеческие и сугубо российские проблемы.

**ISBN 978-5-4241-3080-9**

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Толстой Лев Николаевич  
Севастополь в августе 1855  
года (Севастопольские  
рассказы - 2)



Л.Н.Толстой  
СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА

1

В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой [Последняя станция к Севастополю. (Прим. Л. Н. Толстого.)] и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жиловской бричкой, русской повозкой и корзинкой).

В повозке - спереди, на корточках, сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади, на узлах и вьюках, покрытых попонкой, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напряжены, так называемой талии - перехвата в середине туловища - у него не было, но и живота тоже не было, напротив - он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, ежели бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие, крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, - но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардирование идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозочка должна была остановиться, и офицер, шурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.

- А это с нашей роты солдатик слабый,- сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с ними.

На повозке спереди сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и,

локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку на весьма грязной рубашке, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две исхудалые руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочалы мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и 1000 обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотившись руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.

- Должников! - крикнул он.

- Я-о,- отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.

- Когда ты ранен, братец?

Оловянные, заплавшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.

- Здравия желаем, вашбородие! - тем же отрывистым басом крикнул он.

- Где нынче полк стоит?

- В Сивастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбородие!

- Куда?

- Неизвестно... должно, на Сиверную, вашбородие! Нынче, вашбородие, прибавил он протяжным голосом и надевая шапку,- уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат; но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.

Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уже делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата; он был неглуп и вместе с тем талантлив, хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных, кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал. - Как же! очень буду слушать, что Москва [Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата Москва или еще присяга. (Прим. Л. Н. Толстого.)] болтает! - пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования. - Смешная эта Москва... Пошел, Николаев, трагай

же... Что ты заснул! - прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.

Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозочка покатила рысью.

- Только покормим минутку и сейчас, нынче же, дальше,- сказал офицер.

2

Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванкой, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге.

Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.

- Далече идете, землячок? - сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился около них.

- В роту идем из губернии,- отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. - Мы вот почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?

- В городе, брат, стоит, в городе,- проговорил другой, старый фурштатский солдат, копавший с наслаждением складным ножом в неспелом, белёсом арбузе. Мы вот только с полдён от 1000 теле идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь, в сене, денек-другой пролежи дело-то лучше будет.

- А что так, господа?

- Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя! - И говоривший махнул рукой и поправил шапку.

Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенница трубочку, не накладывая ее, расковырял прижженный табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.

- Никто, как бог, господа! Прощенья просим! - сказал он и, встряхнув за спиною мешок, пошел по дороге.

- Эх, обождал бы лучше! - сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

- Все одно,- пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок,- видно, тоже харбуза купить повечерять; вишь, что говорят люди.

3

Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который перебранивался с следовавшими за ним двумя офицерами.

- И не то что трое суток, и десятеро суток подождете! и генералы ждут, батюшка! - говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих,- а я вам не запрягусь же.

- Так никому не давай лошадей, коли нету!.. А зачем дал какому-то лакею с вещами? - кричал старший из двух офицеров, с стаканом чаю в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и ты сказать смотрителю.

- Ведь вы сами рассудите, господин смотритель,- говорил с запинками другой,

молоденький офицерик,- нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж... вы, значит, не уважаете офицерско-го звания.

- Вы всегда испортите! - перебил его с досадой старший. - Вы только мешае-те мне; надо уметь с ними говорить. Вот он и потерял уваженье. Лошадей сио минуто, я говорю!

- И рад бы, батюшка, да где их взять-то?

Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить:

- Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда)... дайте только до конца месяца дожить - и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу! Пусть делают как хотят, когда такие распоряжения: на всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка сена уж третий день лошади не видали.

И смотритель скрылся в воротах.

Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.

- Что ж,- совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным,- уж три месяца едем, подождем еще. Не беда - успеем.

Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, наверное, сделанном из женского капота, доливал чайник; человека четыре таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты: один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, по тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки; и по одному тому, как они смотрели на других и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры и что они довольны этим. Не то чтобы видно было презрение в 1000 их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами,- сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Чело-века четыре денщиков - одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого; но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему, и главное, напомнили, что брат его, тоже из корпуса, на днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: "Осадить его, ежели бы он вздумал что-нибудь сказать",- перешел от окна к лежанке и сел

на нее. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих двух офицеров.

4

- Однако это ужасно как досадно,- говорил один из молодых офицеров,- что так уже близко, а нельзя доехать. Может быть, нынче дело будет, а нас не будет.

В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, набежавшем на молодое лицо этого офицера в то время, как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово.

Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него.

- Поспеете еще, поверьте,- сказал он.

Молодой офицерик с уважением посмотрел на исхудалое лицо безрукого, неожиданно просветлевшее улыбкой, замолчал и снова занялся чаем. Действительно, в лице безрукого офицера, в его позе и особенно в этом пустом рукаве шинели выражалось много этого спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: "Все это прекрасно, все это я знаю и все могу сделать, ежели бы я захотел только".

- Как же мы решим,- сказал снова молодой офицер своему товарищу в архалуке,- ночуем здесь или поедем на своей лошади?

Товарищ отказался ехать.

- Вы можете себе представить, капитан,- продолжал разливавший чай, обращаясь к безрукому и поднимая ножик, который уронил этот,- нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе, мы и купили сообща лошадь в Симферополе.

- Дорого, я думаю, с вас содрали?

- Право, не знаю, капитан: мы заплатили с повозкой девяносто рублей. Это очень дорого? - прибавил он, обращаясь ко всем и к Козельцову, который смотрел на него.

- Недорого, коли молодая лошадь,- сказал Козельцов.

- Не правда ли? А нам говорили, что дорого... Только она хромая немножко, только это пройдет, нам говорили. Она крепкая такая.

- Вы из какого корпуса? - спросил Козельцов, который хотел узнать о брате.

- Мы теперь из Дворянского полка, нас шесть человек; мы все едем в Севастополь по собственному желанию,-говорил словоохотливый офицерик,-только мы не знаем, где наши батареи: одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что в Одессе.

- А в Симферополе разве нельзя было узнать? - спросил Козельцов.

- Не знают... Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию: ему грубостей наговорили... можете себе представить, как неприятно!.. Угодно вам готовую папироску? - сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу.

Он с каким-то подобострастным восторгом услуживал ему.

- А вы тоже из Севастополя?-продолжал он.-Ах, боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали об вас, обо всех героях! -сказал он, обращаясь к Козельцову, с уважением и добродушной лаской.

- Как же, 1000 вам, может, назад придется ехать? - спросил поручик.

- Вот этого-то мы и боимся. Можете себе представить, что мы, как купили лошадь и обзавелись всем нужным - кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые,- у нас денег совсем не осталось,- сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища,- так что ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть.

- Разве вы не получили подъемных денег? - спросил Козельцов.

- Нет,- отвечал он шепотом,- только нам обещали тут дать.

- А свидетельство у вас есть?

- Я знаю, что главное - свидетельство; по мне в Москве сенатор один - он мне дядя,- как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам мне дал. Так дадут так?

- Непременно дадут.

- И я думаю, что, может быть, так дадут,- сказал он таким тоном, который доказывал, что, спрашивая на тридцати станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько.

5

- Да как же не дать,- сказал вдруг офицер, бранившийся на крыльце с смотрителем и в это время подошедший к разговаривающим и обращаясь отчасти и к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям.- Ведь я так же, как и эти господа, пожелал в действующую армию, даже в самый Севастополь просился от прекрасного места, и мне, кроме прогонов от П., сто тридцать шесть рублей серебром, ничего не дали, а я уж своих больше ста пятидесяти рублей издержал. Подумать только, восемьсот верст третий месяц еду. Вот с этими господами второй месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги. Ну, а коли бы не было их?

- Неужели третий месяц? - спросил кто-то.

- А что прикажете делать,- продолжал рассказывающий.- Ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не просился от хорошего места; так, стало быть, я не стал бы жить по дороге, уж не оттого, чтоб я боялся бы... а возможности никакой нет. В Перекопе, например, я две недели жил; смотритель с вами и говорить не хочет,- когда хотите поезжайте; одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж, верно, так судьба... ведь я бы желал, да, видно, судьба; я ведь не оттого, что вот теперь бомбардированье, а, видно, торопись не торопись - все равно; а я бы как желал...

Этот офицер так старательно объяснял причины своего замедления и как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит. Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел, и голос его оборвался, когда безрукий офицер, который был в том же полку, сказал ему, что в эти два дня у них одних офицеров семнадцать человек выбыло.

Действительно, офицер этот в настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя шесть месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытывали многие и прежде и после него. Он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное покойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более - патриотизмом.

Он пожертвовал этому чувству весьма многим - и обжитым местом, и квартирой с мягкой мебелью, заведенной осьмилетним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу,- он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах. Через два месяца после подачи прошения он по команде получил запрос, но будет ли он требовать вспомоществования от правительства. Он отвечал отрицательно и терпеливо продолжал ожидать определения, хотя патриотический жар уже успел значительно остыть в эти два месяца. Еще через два месяца он получил запрос, не принадлежит ли он к масонским ложам, и еще подобного рода формальности, и после отрицательного ответа, наконец, на пятый месяц вышло его определение. Во все это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства новым, которое я 1000 вляется при каждой перемене положения, успели убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в действующую армию. Когда же он очутился один с изжогой и запыленным лицом, на пятой станции, на которой он встретился с курьером из Севастополя, рассказавшим ему про ужасы войны, прождал двенадцать часов лошадей,- он уже совершенно раскаивался в своем легкомыслии, с смутным ужасом думал о предстоящем и ехал бессознательно вперед, как на жертву. Чувство это в продолжение трехмесячного странствования по станциям, на которых почти везде надо было ждать и встречать едущих из Севастополя офицеров с ужасными рассказами, постоянно увеличивалось и наконец довело до того бедного офицера, что из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в П., в Дуванкой он был жалким трусом; и, съехавшись месяц тому назад с молодежью, едущей из корпуса, он старался ехать как можно тише, считая эти дни последними в своей жизни, на каждой станции разбирал кровать, погребец, составлял партию в преферанс, на жалобную книгу смотрел, как на препровождение времени, и радовался, когда лошадей ему не давали.

Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы, а теперь еще много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Но энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем.

6

- Кто борщу требовал? - провозгласила довольно грязная хозяйка, толстая женщина лет сорока, с миской щей входя в комнату.

Разговор тотчас же замолк, и все бывшие в комнате устремили глаза на харчевницу. Офицер, ехавший из П., даже подмигнул на нее молодому офицеру.

- Ах, это Козельцов спрашивал,- сказал молодой офицер,- надо его разбудить. Вставай обедать,- сказал он, подходя к спящему на диване и толкая его за плечо.

Молодой мальчик, лет семнадцати, с веселыми черными глазками и румянцем во всю щеку, вскочил энергически с дивана и, протирая глаза, остановился посередине комнаты.

- Ах, извините, пожалуйста,-сказал он серебристым звучным голосом доктору, которого толкнул, вставая.

Поручик Козельцов тотчас же узнал брата и подошел к нему.

- Не узнаешь? - сказал он, улыбаясь.

- А-а-а! - закричал меньшей брат.- Вот удивительно! - и стал целовать брата.

Они поцеловались три раза, но на третьем разе запнулись, как будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?

- Ну, как я рад! - сказал старший, вглядываясь в брата.- Пойдем на крыльцо - поговорим.

- Пойдем, пойдем. Я не хочу борщу... ешь ты, Федерсон,- сказал он товарищу.

- Да ведь ты хотел есть.

- Не хочу ничего.

Когда они вышли на крыльцо, меньшей все спрашивал у брата: "Ну, что ты, как, расскажи",- и все говорил, как он рад его видеть, но сам ничего не рассказывал.

Когда прошло минут пять, во время которых они успели помолчать немного, старший брат спросил, отчего меньшей вышел не в гвардию, как этого все наши ожидали.

- Ах, да! - отвечал меньшей, краснея при одном воспоминании.- Это ужасно меня убило, и я никак не ожидал, что это случится. Можешь себе представить, перед самым выпуском мы пошли вдвоем курить,- знаешь эту комнатку, что за швейцарской, ведь и при вас, верно, так же было,- только, можешь вообразить, этот каналья сторож увидал и побегал сказать дежурному офицеру (и ведь мы несколько раз давали на водку сторожу), он и подкрался; только как мы его увидали, те побросали папироски и драло в боковую дверь - а мне уж некуда, он тут мне стал неприятности говорить, разумеется, я не спустил, ну, он сказал инспектору, и пошло. Вот за это-то поставили неполные баллы в поведении, хотя везде были отличные, только из механики двенадцать, ну и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвард 1000 ию, да уж я не хотел и просился на войну.

- Вот как!

- Право, я тебе без шуток говорю, все мне так гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь ежели здесь счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии: там в десять лет в полковники, а здесь Тотлебен так в два года из подполковников в генералы. Ну, а убьют,- так что ж делать!

- Вот ты какой! - сказал брат, улыбаясь.

- А главное, знаешь ли что, брат,- сказал меньшей, улыбаясь и краснея, как будто собирался сказать что-нибудь очень стыдное,- все это пустяки; главное, я затем просился, что все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мне хотелось быть,-прибавил он еще застенчивее.

- Какой ты смешной! - сказал старший брат, доставая папиросницу и не глядя на него.- Жалко только, что мы не вместе будем.

- А что, скажи по правде, страшно на бастионах? - спросил вдруг младший.

- Сначала страшно, потом привыкаешь - ничего. Сам увидишь.

- А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.

- Бог знает.